

зывает лексический и синтаксический повтор. Это говорит об их большей, чем ангелов, схожести с людьми. Божественный мир включает в себя отношения между Богом и ангелами, Богом и божественными существами, при этом ангелы и божественные существа в контакт не вступают.

Есть примеры, свидетельствующие о проявлении неодушевленных предметов как субъектов говорения («...die Erde ihren Mund aufat und sie verschlang» (V 11, 6)). Во всех известных мифосистемах Земля – одна из древнейших и важных богинь, у нее, как и у христианского бога, есть основная функция рождения/творения чего-то нового. Таким образом, любой предмет или существо при определенных условиях может стать субъектом говорения, о чем свидетельствует наличие скрытых потенциальных возможностей, что рассматривается как божественный дар. Функция же человека как единственного социального существа, являющегося носителем языка, в текстах Пятикнижия Моисея большей частью сведена к функции средства передачи информации от Бога к народу, группе людей или отдельному человеку («Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst» (II 4, 12)). Эксплицитно представлена категория модальности, выраженная модальным глаголом «sollen», указывающим на главенствующую роль Бога и второстепенную – человека («Und zum Volk sollst du sagen: Heiligt euch für morgen...» (IV 11, 18)).

Выделение многообразных проявлений социальных, этических, семейных функций свидетельствует о том, что отношения Бога и человека касаются различных областей и проявляются на разных уровнях. Определение роли субъекта и ее актуализированность обусловлены функциями. Наличие субъекта I и субъекта II действия взаимообуславливается и взаимоопределяется, что детерминирует одинаковый количественный набор ролей. Субъекты находятся в непрерывном процессе взаимодействия. При этом Бог обладает более активной определяющей ролью, человек пассивен и менее мобилен в своих

действиях, зависим от действия Бога. При реализации отдельных функций Бога выделяется константное сочетание ролей. Через рассмотрение ролей и действий субъектов, основных представителей «божественного» и «человеческого» миров устанавливается все соотношение миров в библейском видении.

Внутреннюю потенциальную возможность говорить имеют все, но ее реализация – это отличительная черта определенного числа людей, зависящая от ряда условий. Во всей системе «диалога» роль человека наиболее подвижна, он вступает в контакт на разных уровнях, обладает различными функциями, реализуя их в разной степени. Человек занимает активную позицию как субъект говорения, но она приравнена к позиции животных и неживых предметов, не являющихся носителями языка. Роль человека как избранного реализуется как в роли субъекта говорения, выполняющего заместительную функцию по отношению к группе людей, так и в проявлении особой способности предугадывания, как дар от Бога. Два основных способа реализации внутреннего мира (слово и действие) должны быть связаны по божественным требованиям. Несоответствие внутреннего мира божественным заповедям прослеживается на двух уровнях: несоответствие слова действию и несоответствие содержания слов и поступков установленным божественным требованиям.

Позиция Бога менее мобильна, он всегда выступает в качестве полноправного субъекта говорения, обладает ведущей ролью в «диалоге», является существом высшего уровня развития, обладающим возможностями и способностями, недоступными для других существ человеческого и божественного миров, в большинстве примеров он абсолютное знание, но ему свойственны и сомнения. Анализ представленного материала раскрывает структуру божественного мира, которая является иерархичной и многоплановой, функционально распределенной.

УДК 82.09

Т. Д. Красюк

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КАК ОПЫТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОЧТЕНИЯ. РАССКАЗ И. А. БУНИНА «ДАЛЕКОЕ»

Интерпретация – та счастливая область деятельности, где теряют свою «инакость» читатель и литературовед, где восстанавливается в правах субъективное «Я», где обязанности и ответственность всецело определены не алгоритмами и предписаниями научных методологий и рациональных подходов, а лишь мерой личной ответственности перед авторским замыслом.

Научные авторитеты здесь уступают место единственной авторитетной инстанции – слову, высказыванию, тем побуждениям, которыми руководствовался автор в процессе создания текста, сотворения новой художественной реальности. Это воз-

можность окунуться в «тайное тайных» творящего духа, постичь смысл события эстетического завершения, рассчитанного на то, чтобы стать достоянием другого сознания, совершиться в другой душе, в пространстве другого «Я». И, возможно, вступая в область рефлексии, соучастия и сотворчества, где ключевым устремлением является понимание, следует максимально разоружиться, освободиться от той теоретической оснастки, которая настраивает на препарирование, анализ, признать неполноту нашего знания. Полезно вновь почувствовать себя неискушенным, довериться чувству, избрать в проводники интуицию, собраться с силами, чтобы

«прожить» то событие, которое и должно свершиться в нашей душе, т. е. вступить в область эстетической деятельности.

Главное мерило здесь – «точность настройки», полнота и адекватность ответной реакции, радость события встречи, самого пребывания в центре, внутри того мощного сгустка событий, эмоций, человеческих интонаций, ритмов и комбинаций предметов и словом прочерченных линий, которые овладевают сердцем, а уж потом разумом.

Подвергнуть интерпретации обращенное слово – это самому подвергнуться внутренней перестройке, предоставить себя в распоряжение творческой воле. На смену профессиональной гордыне должно прийти читательское смирение, трезвое осознание прав и обязанностей, которые предоставлены автором и отчасти заданы основными параметрами художественного сознания, конкретной культурно-исторической эпохой.

«Произведения Бунина непрозрачны, как сама жизнь, они представляют очень большую трудность для интерпретации и часто ставят критиков в тупик» [1, 278]. Этот «вердикт» Ю. Мальцева справедлив не только в отношении Бунина, его поздних прозаических миниатюр, которые «чаще обходят молчанием». Он верен и в отношении любого произведения, в котором «момент жизни кажется воспроизведенным во всей его сырой полноте и неисчерпаемости, потому что он перенесен на страницу текста без обедняющей селективности и без рациональной организации в «сюжет» [1, 278].

Рассказ «Далекое» (1922) [2, 233–239] И. Бунина не может быть отнесен к «бессюжетным». Тем не менее и сюжет, и якобы основное событие, и герой, к которому с первых строк приковано наше внимание – «скромнейший в мире Иван Иваныч, человек уже старенький и довольно потрепанный», не есть основной предмет поэтического интереса, заключающий импульс к творчеству, предмет эстетического завершения и оценки. Его выдвижение, вынесение на первый план остается одновременно и ложным, и оправданным, как и история его нелепой и такой же нежной, бескорыстной и законной любви к соседу по номерам, князю. Рассказ этот вовсе не об Иване Иваныче, а о той далекой московской весне, ценность которой во всей ее непреложности способны восстановить лишь время и память, которая в поэтическом мире И. Бунина творит и преобразует, удерживает и сохраняет, переводя конечное, случайное, единичное и давно минувшее в новое качество, совершенно иной статус – «навекки».

В первую очередь, в рассказе перед нами – пространство памяти, субъективное сознание, для которого прошедшее успело уже превратиться в бесконечное далекое, теряющееся в неопределенной дали времен: Отсюда эти сказочные формулы («жил да был», «давным-давно», «нечто совершенно нежданное, негаданное»), сулящие, как в сказке, череду волшебных потерь и обретений. Отсюда эти «тысячу лет тому назад». Даже название гостиницы «Северный полюс» привносит ощущение бесконечной пространственной перспективы, усиливая, ук-

репляя временную отдаленность. Но эта спокойная эпическая размеренность, ритмическая упорядоченность первых фраз, своеобразного повествовательного зачина, отдаляющая рассказчика от событий самого рассказа, если и не взорвана, то уже подточена изнутри – «жил да был вместе со мною».

Эти первые строки рассказа чрезвычайно важны. Они задают границы поэтического изображения. Реальность всеобщего бытия смыкается всецело в своей полноте, объеме с пределами и субъективной направленностью индивидуального сознания, а индивидуальная память и все вызванное из ее недр наделяются полномочиями всеобщего и надличного бытия. Время и его ход субъективируются, его объективная мера подменяется эмоционально-психологической формой переживания движения времени. Исчисляемое в десятках лет, для индивидуального «Я» оно обретает протяженность тысячелетнюю, заставляя свое прошлое воспринимать как «другое», уже и не с собственным «Я» связанное. Поэтому и возможна такая «подмена». Та чудесная, праздничная весна, которую пережил и сам рассказчик-герой, отодвинута рассказом об Иване Иваныче, почти случайном спутнике той поры жизни, а вместе с тем и активнейшем соучастнике тех весенних безумств, в которые оказались вовлечены и сама Мостка, и рядовые ее обитатели.

Повествование об Иване Иваныче, трогательное, лишенное иронии, словно хранит на себе отсвет той удивительной, редкой весны, которая примиряет с «дрянной» гостиницей, скверными запахами, темным, зловещим, «коленчатым» коридором. Именно здесь совершается то чудесное, что коснулось и Ивана Иваныча, человека заурядного, ординарного, смешного и чуточку нелепого, и произвело свой «беспорядок», внесло свою новизну в налаженную монотонную жизнь, продолжавшуюся «из года в год». Иван Иваныч, бесцветный и бесхитростный обитатель второсортной гостиницы, вдруг оказался в центре невероятных метаморфоз и внутренних обновлений, на которые способна подвигнуть Любовь и Весна и на которые порой не может не отозваться заурядность и старость. Эффективно комический персонаж, комический и в выборе предмета страсти (был «поражен и пленен», «выбит из своей долголетней колеи» ближайшим соседом, князем, «очень прожившимся человеком», «на вид очень запущенным, нескладно огромным, с шумной тяжелой одышкой»), и в характере перемен (как и князь, стал поздно ложиться спать, стал «выставлять свои сморщенные сапожки, которые чистились прежде в двенадцатые праздники», громко кричать в коридоре о самоваре, купил себе «серенькую шляпу и нечто дорожное»), под воздействием памяти сердца Иван Иваныч идилически преобразуется. Его «мелкое и постыдное обезьянство», отдаваясь во времени, трансформируется в «непрестанное волнение сердца», радость и трепет.

А вслед за Иваном Иванычем с его историей вступает в свои права в сознании, памяти Москва,

вместе с нею Весна и то, как была она некогда пережита – городом, окружающими, героем-рассказчиком как одним из участников «огромной разнообразной жизни». Те ощущения «сброшенного с плеч груза», готовности вступить в новую жизнь, долгожданной распахнутости, открытости мира, готового принять, одарить, осчастливить.

«Новые запахи», «новая чистота улиц», «новый блеск церковных маков на ярком небе», «радостные заботы», покупки, планы, приготовления – все это уже не выстраивается в некую частную историю человеческих встреч и расставаний, а то ли временем оказывается сбито, спрессовано в плотный клубок разнородных, обрывочных воспоминаний, то ли являет собой другую историю, подлинным героем которой является и не Иван Иванович, и не сам рассказчик, «с молодой бородой и ярким взглядом студент», а нечто большее, чем отдельное человеческое «Я». И все отчетливее встает за мелькающими пролетками, звенящими конками, человеческими лицами, Иван Ивановичем и его обожаемым князем другой, главный виновник всего того милого «вздора», всеобщего романтического воодушевления, необычайной свежести впечатлений, торжества пробудившихся желаний, во власти которых оказываются даже те, кто к этому вроде бы меньше всего расположен. «Ах, весна, весна! Все дело было, верно, в том, что происходил весь этот вздор весною». И полноправным участником свершающихся событий становится пришедший в движение весенний город: «Москва прожила свою сложную и утомительную зиму. А потом прожила великий пост, Пасху и опять почувствовала, будто она что-то кончила, что-то свалила с плеч, дождалась чего-то настоящего. И было множество москвичей, которые уже меняли или готовились изменить свою жизнь, начать ее как бы сначала и уже по-иному, чем прежде, зажить разумнее, правильнее, моложе...» [2, 236].

Отныне сюжетную упорядоченность сменяет калейдоскоп разрозненных впечатлений, хаотичных, переключающих на людные московские улицы («нежно и грустно... кричали разносчики с лотками на головах»), «сладко и тепло пахло из кондитерской Скачкова», «кадки с лаврами у подъезда «Праги», «молодой картофель в сметане», «золотисто-светлое предзакатное небо», «басистый звон с шатровой колокольни»), отвлекающих и вновь возвращающих к Ивану Ивановичу и князю: «А Иван Иванович? А Иван Иванович тоже куда-то ходил, тоже где-то бывал...» [2, 237].

Весна, щедро наделяя надеждами, спланирует, соединяет, делая несущественными социальные, возрастные, всякие другие различия: «Все кончали какую-то полосу своей прежней, не той, какой нужно было, жизни, и чуть ли не для всей Москвы был канун жизни новой, непременно счастливой, – был он и у меня...» [2, 236-237]. И одновременно растет внутреннее напряжение, возникает иная поляризация. Это напряжение возникает не между многочисленными участниками той побуждающей к обновлению жизни, всех некогда захватившей.

Холодность и равнодушие князя, безобидное вранье Иван Ивановича коридорному по утрам, постыдное «подражание» князю сохраняют оттенок невинности и не содержат истоки разлада, вражды.

Конфликтность у Бунина имеет другую природу. Она не принадлежит конкретному времени, прошлому или настоящему. Она не дана в процессе своего зарождения, вызревания. Характер ее глубинный, вневременной. Эта коллизия лишь открыта, выстраивается, сопутствует реконструкции и осознанию прошлого. Возникает другая динамика, другой, скрытый, подспудный сюжет, оформляющийся в виде словесного жеста, словесного столкновения, за которым угадывается противоборство, противостояние истин.

«Каждая весна есть как бы конец чего-то изжитого и начало чего-то нового. Той далекой московской весной этот обман был особенно сладок и силен» [2, 236]. Истинность и неоспоримость данного в личном и коллективном опыте (весна есть конец... и начало) оказывается дважды подорвано, провозглашено и в ту же секунду оспорено, даже отменено (как бы начало... обман). Да и обман этот упоителен, сладок. Он заставляет желать то, что несет в себе горечь разочарования, о чем можно и должно сожалеть.

«Сбылась ли эта мечта и чем вообще кончился порыв Иван Ивановича к новой жизни, право, не знаю. Думаю, что кончился он, как и большинство наших порывов, неважно...» [2, 238]. Незнание равноценно знанию – «кончился... неважно».

«В сущности, все мы, в известный срок живущие на земле вместе и вместе испытывающие все земные радости и горести, видящие одно и то же небо, любящие и ненавидящие в конце концов одинаковое и все поголовно обреченные одной и той же казни, одному и тому же исчезновению с лица земли, должны были питать друг к другу величайшую нежность, чувство до слез умиляющей близости и просто кричать должны были бы от страха и боли, когда судьба разлучает нас... Но, как известно, мы, в общем... часто разлучаемся даже с самыми близкими как нельзя более легкомысленно...» [2, 238]. И вновь: «Должны были кричать...», а расстались «легкомысленно». «Мы все», «живущие вместе и вместе испытывающие» – и «севши каждый в свою пролетку» [2, 239].

Явь прошлого, так отчетливо и зримо проступившая в памяти, в одно мгновение превращается в «сладкий и горький сон», пережитое «тысячу лет тому назад» – в «помню как сейчас».

Скрытое дотоле чувство неодолимого трагизма бытия, его присутствия в каждой частичке жизни все больше и больше проступает наружу, завладевает сознанием, ретроспективно высвечивая все новые и новые антиномии: заштатная гостиница – центр по-весеннему оживленной московской жизни (Арбат, Страстной, ехал к Кремлю, через Кремль...); «каждая весна» – «та весна была особенно праздничной...»; «мой сосед по номерам» – и «скромнейший современник наш»; «был совершенно чужд всем нашим надеждам» – и вот «возмеч-

тал... зажить и себе по-новому»; существовал «с редким однообразием» – и вдруг пленился; был князь «человеком глубоко прожившимся» – но и «пожившим в свое время как следует»; «просто кричать должны были от страха и боли» – и «не просто радовался... а истинно тонул в радости существования»; «помню, как сейчас» – и «как-то мгновенно, еще на Арбатской площади, позабыв и «Северный полюс», и князя, и Иван Иваныча...»; «тысячу лет тому назад» – и «ни в какие времена до окончания лет...».

Ничтожное, нестоящее (даже «чемоданчик за рубль семьдесят пять, весь в блестящих жестяных гвоздях» Иван Иваныча) обретает свою истинную цену. Глубоко личное, потаенное и всем предназначенное, доступное всякому, сплавляясь, образуют неразложимое целое. «Сладкий и горький сон прошлого». Весна, которая никогда не повторится. Не случайно единственный эпизод из той жизни героя-рассказчика, его истории, которая так и осталась не рассказанной и вместе с тем как нельзя лучше воплощена в истории князя, Иван Иваныча, всех прочих, поддавшихся обманчивому обаянию весны, – эпизод отъезда, прощания с Москвой под звон и гул «колоколов, благословляющих счастливо кончившийся суетный день...» [2, 239].

Кремль, озаренный вечерним солнцем, соборы, мимо которых едет рассказчик («ах, как хороши они были, боже мой!»), древний гул колоколов задают иные масштабы потерь. Это прощание с Россией, тем, что навсегда заключено в памяти сердца, что потеряно навсегда. Не случайно последние строчки рассказа – прорвавшийся крик, обращенное к прошлому слово, которое никто не услышит и на которое никто не ответит: «Милый князь, милый

Иван Иваныч, где-то гниют теперь ваши кости? И где наши общие глупые надежды и радости, наша далекая московская весна? [2, 239].

Итак, это рассказ о весне, о поре счастливых надежд, сладости весеннего обмана, некоем всеобщем весеннем беспутстве, о странностях и причудах любви... О конкретной московской весне, связанной с окончанием студенческих лет героя-рассказчика – «на редкость чудесной», единственной и неповторимой (оттого и восторженный тон, и превосходная степень определений – «скромнейший в мире»). И о весне как поре жизни всякого человека, весне как юности, переживаемой как «канун жизни новой», «непреренно счастливой», которая может случиться и много позже, как у Иван Иваныча. И обо всем, что она вобрала и что осталось бесконечно дорого – Москва, люди, ей уподобившиеся, что навсегда, навеки потеряно и что связалось, сплелось и навсегда, навеки «вместе со мною».

Отсюда название «Далекое», емкое, все вбирающее, все обнимающее, превращающее Иван Иваныча, историю, с ним приключившуюся, в слабое (или одно из слабых) навсегда утраченной, невозвратной весны, которая вырвана усилиями памяти из отрешенного хода времени и теперь, доверенная слову, принадлежит уже вечности.

Литература

1. Мальцев, Ю. Иван Бунин. 1870–1953 / Ю. Мальцев. – М., 1994. – С. 278.
2. Бунин, И. А. Собрание сочинений: в 6 т. / И. А. Бунин. – М., 1988. – Т. 4. – С. 233–239.